

Протопресвитер Александр Шмеман¹

Русское духовенство у Чехова: Только Чехов не проглядел русского священника (лекция)¹

<...>Фокусом, который всегда оставался центральным во всех размышлениях о России, всегда была русская культура, и в первую очередь, конечно, то таинственное дерево русской культуры, которое французский поэт Поль Валери называл «седьмым чудом света». Говорить о ее загадке, ее величии, о том, почему и как она выросла на нашей земле, сейчас не входит в мою задачу, но она всегда была, и про нее всегда говорилось ее друзьями и ее врагами, и, я думаю, совершенно справедливо, что на глубине основное вдохновение этой культуры, особенно литературы, было христианским.

Лично я готов исповедовать, что есть две несомненные ценности, хотя и совершенно разного порядка, одна к другой несводимые, по всей вероятности несоизмеримые, а именно что, когда мы говорим уже об абсолютной ценности России, мы можем только говорить либо о русских святых (не вообще о какой-то Святой Руси, ибо такой отдельной от святых, какой-то [абстрактной] святой Руси не существует), либо же тогда уже о том совсем особом мире, особом своей совестью, своей какой-то духовной пронизательностью, который мы находим в русской литературе.

Но сегодня я не хотел бы говорить общими фразами, а хочу остановиться на одной, с виду маленькой, теме и на одном писателе, который как раз обычно в эту великую стаю не попадает, на одном писателе и на одной у этого писателя теме. Итак, тема моей лекции: Чехов и у Чехова православное духовенство. И мой первый вопрос: почему Чехов? И почему у Чехова духовенство? Почему такая клерикализация темы?

Мне кажется, что наряду со всеми необходимыми, справедливыми разговорами и гимнами таким людям, как Достоевский, Гоголь, со всеми их мистическими, пророческими взлетами, мы не должны забыть голос, который звучит совсем в другом регистре, как будто совсем вне этой пророческой, взрывчатой великой русской литературы, которая, когда она доходит до западного читателя, очень часто [приводит] к легкому сумасшествию у западного человека (им это очень противопоказано), как говорят — «Толстоевский» у немцев, например. Но Чехов, наоборот, безопасен.

Господи, сколько глупостей об этом писателе было написано! Нытик, сумеречный, а если взять советскую критику, то какой-то провозвестник светлого будущего и прочее. Но вот удивительно, что многие писатели его поколения канули в вечность, о них больше

никто никогда не говорит и, наверное, говорить не будет. Кто, кроме совсем особенной категории людей, которых я не хочу обижать, но которые, как бы это сказать, в каком-то смысле похожи на людей с манией самоубийства, будет заниматься Арцыбашевым или Леонидом Андреевым (а ведь когда-то все это гремело, их читали, зачитывались, составляли какие-то общества и прочее)?

Но сегодня только либо в порядке наказания, либо в поисках свежей темы для докторской диссертации можно Арцыбашевым заниматься. А вот Чехов, который будто бы на этом же уровне (все помнят «Дочь Альбиона», например), после всех этих катастрофических лет, отбросивших все ненужное, все эти андреевские пророчества, про которые, кажется, Лев Толстой говорил: «Он пугает, а мне не страшно»², — Чехов не пугал, не пророчествовал, не возвещал, и, тем не менее, он выжил и растет в памяти и сознании. Почему?

И вот я на нем останавливаюсь не потому, что хочу убавить значение других, мне более или менее очевидна иерархия ценностей, но потому, что, во-первых, мы-то сами же, да, может быть, [и вся] эмиграция не может не жить с какой-то постоянно нажатой педалью, с каким-то постоянным лирическим, мистическим, пророческим экстазом, где (простите, я совершенно не хочу никакие намеки делать) ядение блинов приобретает какое-то мистическое значение спасения России, верности России и т.д.

Каждый наш разговор идеен, каждый наш бал есть часть крестового похода. И позволительно немножко от этой эмигрантской нажатой педали, преувеличения всего, превращения всего в какие-то грандиозные тени немножечко устать и вернуться к тому писателю, который, повторяю, не претендовал никогда, ни в одной своей строчке ни на пророчество, ни какую-то специальную глубину, ни на какие-то прозрения. Нет в русской литературе, пожалуй, писателя более трезвого. Шестов, написавший о нем знаменитую статью, называл его «жестоким талантом»³, человеком, который, наоборот, до конца выжигал всюду и везде эту громкую фразу, эту нажатую педаль, который в том разливе некоторой словесной безответственности, которой наряду с огромными взлетами отмечено начало века, был как бы меркой трезвости, я бы сказал — почти духовной трезвости.

Очень странно Чехова теперь представлять как одного из христианских писателей, который что-то сказал, что не заключено у других, что-то, что сохраняет свое собственное лицо. Сам Чехов никогда бы себя так не назвал и даже официально называл себя, как бы сказали теперь, агностиком. Но вот именно потому тот свет, который мы за эти пятьдесят лет начали уметь различать у него, который до нас начинает доходить, мне кажется особенно важным.

Повторяю, нет у меня намерения отнимать хоть долю славы у других наших великих пророков. Я только смею утверждать, что если мы, как я говорил в начале, призваны искать какого-то исцеления, возврата какой-то целостности и это исцеление, эта целостность духа требуют отбрасывания всего, что только слова, только эмоции, только чувства, то вот этот учитель некоторой трезвости, может быть, даже какого-то беспощадного, правдивого взгляда на жизнь нам духовно нужен.

Два слова о Чехове и христианстве, чтобы избежать каких бы то ни было недоразумений. Когда я называю Чехова, и даже и других писателей, писателями христианскими, я никогда не имею в виду измерять их личную веру и тем паче их личную церковность. Это остается тайной. И можно было бы доказать, что Чехов в своих записных книжках, своих дневниках раскрывает очень типичную для того времени половинчатость. Маленький разночинец из Таганрога, проросший сам, своим усилием...

Господи, с чего он начал свое литературное творчество! С ужасного какого-то журнальчика, с кошмарного юмора! Кроме академических изданий, надо было бы запрещать первые три тома Чехова выпускать в продажу, потому что не захочется четвертый читать. Он навсегда остался (и это правильно некоторые редкие критики заметили) чуть-чуть под этим прессом нашей просвещенной интеллигенции, которой просто сказать «верю в Бога» — невозможно. Он заплатил дань этим всем воплям о том, что скоро наука построит счастливое будущее, но у меня всегда такое чувство, когда я читаю чеховские слова о светлом будущем, что он сам внутри себя посмеивался, платил чему-то дань, но сам особенно в это не верил.

Поэтому, как и у многих других писателей, которые лучше бы сделали, если бы писали романы, а не занимались бы идеологией, в его [художественном] творчестве проглядывает то глубокое и важное, тот свет, который, быть может, он сам едва сознавал, что гораздо больше, чем если бы мы искали у него (мы очень любим искать, предполагая, что оно у каждого есть) целостное мировоззрение. Очень малое количество людей с целостным мировоззрением, да, может быть, оно совсем и не нужно, между прочим, простите такую страшную ересь.

Вера — несомненно нужна, а целостное мировоззрение, по-моему, совсем не нужно, и оно, по-моему, меняется от завтрака до обеда. На свете было бы гораздо легче жить, если бы в нем было меньше целостных идеологий, мировоззрений, всего того, из-за чего люди так часто мучают, отрицают и ненавидят друг друга. Поэтому, повторяю, для меня важно только его творчество. То, что он говорил, простите, как интеллигент, то никогда бы не сказал художник. Как интеллигент, он — часть той интеллигенции, которая

в каком-то смысле отвергала все, что ей было непонятно, и даже с каким-то оттенком «дешевки». Как художник, он шел своим каким-то совершенно особым путем, и я убежден, что настоящее изучение его художественного творчества на глубине, по-настоящему еще даже почти и не начиналось.

Еще одно замечание. Мой предмет в богословии — литургика. Когда-то я забавлялся тем, что ставил отметки по литургике русским писателям, проверяя их знания. Ведь у каждого проглядывает то молебен, то панихида, то свадьба, то еще что-нибудь. И, увы, этот экзамен мало кто из русских писателей выдержал. Пушкин написал о том молебне, который, зевая, слушают люди в Троицын день, забыв, что это не молебен, а вечерня. Для литургиста это невыносимая ересь, и Пушкин проваливается. Тургенев миропомазал Базарова на смертном одре. Лев Толстой употребил кадило на свадьбе Левина (хотя оно в требнике стоит, но давным-давно бытом вытеснено, потому что напоминает похороны, как известно). И так далее. Я могу продолжить. И есть только один человек, который получает, не претендуя на большую веру, круглую пятерку по литургике, — это Чехов.

Он ни разу нигде не ошибся. Ему не нужно было показывать знание Типикона, но знал он его замечательно, знал его не только в мелочах, но знал и аромат вещей, который только может знать человек, с детства живший церковной жизнью. Даже вот наш последний христианский писатель, Пастернак, начинает с какого литургического ляпа! Помните, в «Докторе Живаго»: «И шли, и шли, и шли, и пели “Вечную память”»? Вы когда-нибудь слышали, чтобы шли и пели «Вечную память»? Никогда в жизни. Этого не существует. Спели «Вечная память», потом перешли на «Святый Боже». Нет, я не думаю, что они из-за этого в какое-то там чистилище попадут, русские писатели, это не их обязанность была. Тем более поразительно знание этого интеллигентского писателя о богослужении.

У Чехова нет ошибок, и он более или менее всегда дает почувствовать правильную интонацию. Может, люди, незнакомые с миром православного богослужения, не заметят то описание всенощной под Благовещение, с которого начинается его потрясающий рассказ «Убийство», с этим взлетом к «Архангельскому гласу», который мещанин слушает, все эти цитаты из акафистов, это любование акафистом Божией Матери... Тут нет ни одной фальшивой ноты. В рассказе «Перекати-поле», действие которого происходит в большом монастыре, опять-таки все точно, так, как оно было. Чехов чувствует и атмосферу церкви, и атмосферу, скажем, церковного праздника.

Можно предполагать, что он никогда не прочел ни одной богословской книги, но это знание он вынес мы знаем откуда, это не тайна — тот маленький хор, который его

отец создал из подростков в Таганроге и который пел в угоду купцам таганрогским в разных приходских храмах. Эту любовь к аромату православного богослужения Чехов сохранил навсегда. Но при этом (и это тоже можно было бы доказать очень легко) никогда не было у него никакой идеализации церковной среды, [особенно] если сравнить его с некоторыми другими писателями, мы это тоже увидим сейчас. Поэтому можно сказать так: нет у него идеализации Церкви, нет у него и карикатуры Церкви, но то, что о ней сказано, есть абсолютное, внутреннее, реализм в чистом смысле этого слова, так, как оно есть, не только так, как выглядит, но так, как и чувствуется, и всегда переживалось в русском благочестии.

Мы знаем, что агностик, неверующий, скептик, иронический Чехов, когда был в Мелихове, жил со своими родителями, и на Страстную неделю батюшку выписывали, и там служили они в храме Страстную седмицу, и он баритончиком подпевал и все знал, все, когда и что и как нужно.

Есть у него и знания об этом всем, и любованье, но есть и нечто другое, неизмеримо более важное. И вот я перехожу к главной теме моего сегодняшнего доклада, а именно: есть у него, единственного, пожалуй, из всех русских писателей, совершенно особенный, единственный образ русского духовенства. Я бы сказал так: русская литература, даже при всех своих взлетах, христианских, мистических, пророческих, проглядела русского священника, а Чехов не проглядел.

Есть в этой области заслуги у Лескова, конечно, но подать русское духовенство с той глубиной, с которой явил нам его Чехов, — этого в русской культуре просто нигде ни в каком другом месте нет. А, скажете, старец Зосима в «Братьях Карамазовых»? Я вам отвечу: прочитайте совершенно изумительную по своему таланту статью на эту тему Константина Леонтьева, правда, зло названную «Розовое христианство»⁴. Старец Зосима, может быть, что-то чайнное, но был ли он так типичен, это другой вопрос, об этом можно спорить, но спорить об этом мы сейчас не будем.

Русское духовенство (и это уже разговор, который выходит за пределы моей темы) есть некоторое совершенно исключительное явление в русской истории, и, может быть, человек почувствует, в чем его исключительность, а я как раз напомню вам один из очень замечательных образов у Чехова — отца Христофора Сирийского из «Степи». Едут Иван Иваныч и Егорушка по степи, и вот с ними едет старенький батюшка, уже на покое живущий, всю жизнь прожил в этом захолустном, степном, пылью покрытом городе, никогда, пожалуй, не встретился ни с одним интеллигентным человеком, а только с людьми, которые продавали шерсть другим, да и сам-то он едет шерсть продавать, правда не для себя, а для своего тестя, но все равно.

И вот там один из разговоров, может, вы помните: он вдруг вспоминает, как он учился, на латыни начинает говорить, как он говорил с преосвященным Христофором (он Христофор, тот — Христофор), как архиерей его спросил про его *poen*, *puer bone* — хороший мальчик, и тот ему ответил на латыни, и он засиял и засмеялся, вот, говорит, действительно, пища для души такое образование. Представляете?

И это очень короткое замечание. Что сделала петровская реформа? Она приобщила русскую культуру и русскую литературу к более или менее антихристианскому миру просвещения, а русское духовенство сделала очень культурным в плане западной христианской схоластики (латынь и так далее). Поэтому русское духовенство, как и вся русская Церковь, но именно в лице своего духовенства, не имела в каком-то смысле общего языка с культурой светской, которая говорила на языке Вольтера и Дидро, а потом сразу заговорила на языке всяких западных мистиков, и вместе была оторвана [от народа].

Какому мужику в этом городе, кому вообще в этих чеховских городах нужен был священник, которого долго в бурсе учили даже стихи на латыни писать? И вот они сами в себе жили, с одной стороны причастные образованию, которого часто не имела нарождавшаяся русская интеллигенция (профессор Чижевский показал, какую огромную культуру имела в себе русская духовная академия, когда еще по-настоящему этот культурный рассвет в России не начался), а с другой стороны, это была как бы культура, заключенная сама в себе, отрывавшая русское духовенство от мира интеллигенции, а также делавшая его в каком-то смысле одиноким среди того народа, о котором так скоро начнет волноваться вся русская интеллигенция. И вот эту сложность, я бы сказал, этот трагизм положения русского духовенства Чехов почувствовал как никто.

Как кончил кошмарно Блок! Что он запомнил от всего? «Помнишь, как, бывало, // Брюхом шел вперед, // И крестом сияло // Брюхо на народ?..»⁵ Что знало об этом духовенстве русское дворянство, русская интеллигенция? Какой-то поповский анекдот, семинарский анекдот, какие-то странные на «о» разговоры и т.д., «кричит, как оглашенный». Господи! Можно было бы написать целый огромный сборник этого антиклерикализма русского. Я тут не для того, чтобы утверждать, что это было какое-то исключительно святое духовенство. Я только хочу сказать, что в культурном плане все заметила русская литература, все правильно оценила и даже очень часто о Боге правильно задумывалась, но вот этого священника, дьякона увидала она либо бытово, либо анекдотически, либо со снисходительной улыбкой, либо с жалостью — «все было бы хорошо, если бы не это поповское православие».

Чего-то главного, совсем главного она не заметила. И, может, потому, что не заметила, возможно, тут надо искать хотя бы один из истоков той страшной трагедии,

которая на нас обрушилась. Либо искали Бога, синтеза, целостности где-то очень высоко, и опять-таки начиная главным образом с Гегеля или с каких-нибудь там западных библеистов, или начинали умиляться, как говорил кто-то, круто замешанным бытом^б, и там тоже батюшка играл роль этакого носителя этого блинно- — уж не знаю какого быта, а чего-то главного не заметили.

И вот я себе позволю, чтобы не быть голословным, привести, сослаться, вернее, на пять рассказов Чехова (не читая вам все пять, не беспокойтесь), в которых выведено духовенство (вернее, священники, в одном, правда, дьякон, но дьякон тоже духовенство), взятых из разных периодов чеховского творчества. Это рассказ «Кошмар» 1886 года, коротенький; это рассказ «Письмо» 1887 года; это рассказ «Степь» 1888 года; затем — «Дуэль» 1891 года и, наконец, увенчивающий взлет, последний, потрясающий взлет Чехова — это «Архиерей» 1902 года, написанный за два года до смерти Чехова, рассказ, о котором сам Чехов говорил, что он работал над ним почти пятнадцать лет, и который среди воистину богатой подлинными бриллиантами русской литературы есть один из потрясающих бриллиантов, незабываемый совершенно.

Так вот, возьмем первый рассказ — «Кошмар». Тема его очень простая — приезжает из города Петербурга помещик Кунин, напичканный разными чудными идеями, ему хочется помогать, просвещать, учить и вообще помочь народу, он идеалист, он гуманист, он филантроп, и главное, конечно, — он преисполнен уважения к Церкви. Он решает скорее вызвать батюшку и с батюшкой вместе [взяться за дело]. Он даже проповеди пишет, чтобы батюшка мог бы их читать, ничтоже сумняшеся...

И вот вызывает он к себе этого бедненького отца Якова Смирнова. Увы, время не позволяет читать, но Чехов ни одной секунды этого отца Якова Смирнова не идеализирует. Является что-то бесконечно грустное: малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице... Он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог подумать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники. А в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях, сидении на краешке ему виделось отсутствие достоинства, даже подхалимство.

«Малый, как видно, не из очень умных... — думал Кунин. — Не в меру робок и глуповат». Оживился этот бедный отец Яков только когда ему чай дали, он стал жадно его пить. Никакой тут жалости у Чехова нет. Он показывает, как тот крендель в карман прячет. «Ну, уж это совсем не по-иерейски! — подумал Кунин», когда увидал, что тот один крендель съел, а другой в карман засунул, «брезгливо пожимая плечами. — Что это, поповская жадность или ребячество?»

Потом Кунин едет в приход, в церковь, где тот служит, и вот это чувство почти абсолютного отвращения: служит плохо, голос плохой, риза плохая, вообще все плохо. Потом идут они после службы к нему чаю выпить, и какие-то странные переговоры происходят между отцом Яковом и каким-то женским голосом, его матушкой, за перегородкой, и так, чаю не дождавшись, Кунин уезжает и пишет донос архиерею, что вредны для Церкви такие священники. И на следующий день приходит опять о. Яков Смирнов и говорит, что вот, кажется, вы хотели место писаря предоставить кому-нибудь... И тот спрашивает: «Да... А вы имеете порекомендовать кого-нибудь?» — «Я сам». И опять взрыв негодования у Кунина: жадный священник!

И вот тут идет эта потрясающая исповедь отца Якова, которого заела эта бедность! Он беден бесконечно. «Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но... всё забыл, не подберу теперь слов. Я получаю в год с прихода сто пятьдесят рублей, и все... удивляются, куда я эти деньги деваю... Но я вам всё по совести объясню... Сорок рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои... Потом-с, я еще в консисторию за место свое не всё еще выплатил. За место с меня двести рублей положили, чтоб я по десяти в месяц выплачивал... Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию, по крайней мере, хоть по три рубля в месяц! — Какому отцу Авраамию? — Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за... слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет! Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню просить! Мне ведь грех будет, ежели что! Мне грех! Он... всем задолжал, а ведь мне грех, что я за него не плачу».

Хорошо. Казалось бы, что-то такое а-ля Горький немножечко: несчастный человек, можно пожалеть. На самом деле не только это есть в этом рассказе, не только на это я хочу обратить ваше внимание. На самом деле не бедностью страдает о. Яков. Вот где Чехов показывает второе измерение, которого у него не почувствовали. «Замучил голод, Павел Михайлович! Извините великодушно, но нет уже сил моих... Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но... не могу! Совесть мне! Как я стану у мужиков просить? Вы служите тут и сами видите... Какая рука подыметься просить у нищего? А просить у кого побогаче, у помещиков, не могу! Гордость! Совесть!»

Вот, оказывается, отец Яков Смирнов не какую-нибудь социальную несет диатрибу, чтобы, я не знаю, пенсионный фонд открыть для духовенства или что-нибудь в этом роде. Гордости он своей духовно боится! И вот что это почувствовал писатель, в то время, когда казалось, что все можно разрешить экономическими методами!

«Совестно!.. Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели! Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович! <...> Ну, положим, я снесу и голод, и срам, но ведь у меня, Господи, еще попадья есть!» Но главный его испуг от того, что, взяв на себя этот сан, взяв на себя это служение, он не готов до конца и абсолютно отложить всю свою внутреннюю гордость, самолюбие, страдание за жену и до конца, абсолютно до конца принять все это и не скрывать это от людей. И вот этот удивительный, это совсем еще сравнительно ранний в творчестве Чехова рассказ сразу дает почувствовать то, чего еще ни один критик не заметил, а именно что его интересуют не просто два типа бедности, бедного священника и богатого помещика, и взаимное непонимание, а что он как бы в пастырскую душу проник. Почувствовал, что настоящая трагедия о Якова совсем не в том, что он голодает, что у него матушка, которую он из института взял, а в том, что он не может от себя отложить этой гордости и действительно стать, как бы сказать, образом Христа, нищим, перестать об этом всем думать. Это незабываемый рассказ.

Второй рассказ, второе измерение чеховского священника — это «Письмо». Великая суббота, отец благочинный, достойный, хороший священник, только что служил, мы знаем, какая длинная служба в Великую субботу, скоро заутреню служить, но, к несчастью, вместо того, чтобы [дать ему] поспать, к нему явился запрещенный за пьянство священник о. Анастасий, и сидит, и не уходит. И в рассказе Анастасий выглядит очень реалистично: он и пьяница, он и какие-то незаконные браки венчает, запутался, и никакого сожаления этот человек не вызывает...

У Чехова, опять-таки, нет такого элемента, как у Достоевского: «Придите ко мне, все пьяненькие», он не хочет вызвать сочувствие к пьяному священнику. И этот благочинный старается быть вежливым с ним, но тут приходит дьякон. А дьякон получил известие из города, что его сын стал совсем безбожником, по пятницам мясо ест, с какой-то женщиной сошелся...

И вот этот несчастный дьякон просит отца Федора, благочинного, написать его сыну внушение. И отец Федор это внушение пишет, и вот напомним только две строчки, чтобы вы почувствовали, в каком тоне оно написано: «Христос воскрес, любезный сын... знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца, слухи... далее в скобках... а из какого источника, тебя это не касается... скобка... Написал?.. что ты ведешь жизнь несообразную ни с божескими, ни с человеческими законами. Ни комфортабельность, ни светское великолепие, ни образованность...», такая вот фарисейская проповедь, после которой, совершенно очевидно, этот сын еще больше [утвердится в своем образе жизни]...

Дьякон в полном восторге: да наградил ведь Бог умом его, вот уж мой Петр получит! И думает, что дело в шляпе, как говорится, наставит его отец всей силой догматики, каноники, священной истории. И дьякон ведет отца Анастасия к себе домой. И там происходит ужасная сцена. В Великую субботу под заутреню о. Анастасий просит дать ему рюмку водки, и сам чувствует, что нет ему больше спасения в этом мире, уж если он в этот день не может воздержаться. Но все меняется, все начинает сиять каким-то совсем другим светом, когда выпивший эту рюмку водки и знающий, что ему нету спасения, и, можно сказать, сам себя дисквалифицировавший, запутавшийся, пьяный, запрещенный священник вдруг говорит: «Знаешь, дьякон? Не посылай! <...> Прости, Бог с ним! Я тебе... вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди».

И тут, дорогие отцы и братья, как бы с неба падает то, за что хочется целовать руки Чехову: «Наказующие и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал!» Вот вам взлет, который вы редко увидите где-то еще. Наказующие всегда найдутся, а ты бы милующих поискал! Правда, победу он не одержит, дьякон только приписывает какую-то шутовскую строчку к письму, которая уничтожает его серьезность, и все. Анастасий, наверное, до заутрени не доживет, напьется.

Очень интересна история этого рассказа, Чехов очень долго над ним работал. Но появляется вот такое ощущение, что мы в том мире, в мире ценностей, которые несводимы... Как бы это лучше выразить? Приведу маленькую параллель. Всю жизнь свою я прожил в каких-то церковных спорах, все какой-то истиной по голове друг друга крушат, какой-то непримиримостью, бескомпромиссностью, какими-то оглоблями, и отовсюду кровь течет — как будто первое, что мы говорим себе: кому бы руки не пожать, с кем бы не помолиться, кого бы осудить, чтобы ясна была наша собственная кристальная чистота. И над этим реют слова Чехова: «Наказующие без тебя найдутся, ты бы милующих поискал».

Я чувствую, что времени уже немного остается, постараюсь быть кратким. Хотел больше сказать, но уже не успеваю. Сейчас хочу на рассказе «Степь» остановиться на одну секунду. Конечно, это все нужно читать. Своими словами излагать «Евгения Онегина» нельзя, лучше этого не делать, не правда ли? Вы все помните этот удивительный рассказ. Это единственная во всей жизни Чехова попытка что-то длинное написать, удачная попытка, хотя не продолженная им. Эта поездка, бесконечная поездка в город через степь купца, его племянника, которого в гимназию везут, и спутника их, отца Христофора Сирийского. Я не буду говорить о том радостном свете, этим старичком

испускаемом, с его какой-то духовной простотой, весельем, радостью. Ничего абсолютно мрачного, никакого укора, осуждения.

Можно подумать: ах, выводит такого вот светлого простачка. Вот, интеллигентный Чехов любуется таким сельским батюшкой, бесхитростным, он там и кафизмы читает после дневного сна. Такое что-то нечто буколическое, что было свойственно некоторой части русской интеллигенции: всяким там архиереям и чиновному духовенству такого вот сельского попаика противопоставляли, который будто бы берет своей бесхитростностью, простотой, необразованностью. Я только одну почти прочту фразу.

Приезжают в город, вот он наставление делает последнее этому маленькому Егорушке, который останется один учиться в гимназии. До этого отец Христофор пошел в церковь утром, пришел, положил на стол просфорку, и здесь написана удивительная фраза: «Старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние». А потом он начинает делать такое наставление, и звучит опять это так, как будто пишет какой-то популист, рисует бесхитростного попаика. Вот послушайте: «“Кушай, — сказал отец Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. — Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слышал, а иной про Петра Могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки... географию, конечно, историю, богословие, философию, математику... А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж Бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли...”»

Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал: “Апостол Павел говорит: на учения странна и различна не прилагайтесь. Конечно, если чернокнижие, буесловие, или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся... Святые апостолы говорили на всех языках — и ты учи языки; Василий Великий учил математику и философию — и ты учи; святой Нестор писал историю — и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся...” Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой. “Хорошо! — сказал он. — Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом

обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно... Или вот тоже, когда приезжает окружной суд...» и так далее.

Что я хочу сказать об этой его диатрибе, звучащей очень просто? Я не знаю лучшей защиты того, почему нужно учиться, лучшего объяснения, что такое культура. Вот пишут теперь такие книги о кризисе современной культуры, что надо сначала учиться понимать, что там написано, что эти слова означают. Но ведь по существу здесь крайне просто сказано абсолютно все, что нужно, абсолютно все. Во-первых, нет этого, как часто в Православии бывает, и сегодня это особенно модно: «Как мы устали от этой технологической культуры, это все не нужно, бегите в горы, в пустыни!», и все готовы уже броситься в какую-то тьму. И устами отца Христофора говорит некая защита культуры прежде всего, он говорит, что все это хорошо, и полезно, и нужно.

Это все очень просто выражено, и я не говорю, что это сразу убедит Римский клуб или людей такого пошиба, им хочется чего-нибудь поученее. Но ведь все здесь по существу изнутри освещено. И есть такие науки, от которых пользы ни себе, ни людям, лучше им и не учиться, и таких наук много в колледжах американских преподается — ни себе, ни людям, никому они не нужны, для чего они существуют — одному Богу известно. И вот этому противопоставлено — очень просто, на простейшем языке, как в Евангелии, в котором нет ни одного абстрактного слова <...>...

Вот будем слушать завтра утром притчу о блудном сыне. Там почти все сказано о человеке и его изгнании из Царства Божия в мир сей, и никакие ученые слова никогда ничего не прибавят к этой притче. Так же по существу и здесь отражено то, что не заметили [другие], а именно то, что в этих сельских священниках были не просто простота, веселие и ясность и что говорили они какими-то словесами не очень важными, но которые по-славянски красиво звучали, а в сущности имели они как раз то целостное видение мира и жизни, от которого стихийно отходила наша светская культура, которое постепенно перестало быть изнутри критерием изгнания, красоты, искусства, радости.

Мне кажется, что как будто стали защищать какое-то мракобесие. Но если миру суждено спастись, то только возвращением к этой божественной простоте взгляда на мир, на самого себя, на вещи, чтобы снова ощутить радость и простоту и божественность всех вещей. Вот это Чехов почувствовал — что русское духовенство почти было лишено возможности [проявить себя] (вот он мог только за обедом кому-то по-латыни что-то сказать и с адвокатами за ручку), что весь этот капитал, вся эта сокровищница...

<...Перерыв в записи. Далее идет речь о рассказе «Дуэль».>

И вот нарастает драма этого рассказа. Ненависть, звериная ненависть друг к другу Лаевского и фон Корена, которая кончается дуэлью, от которой спасает один не принципиальный человек. Все там принципиальные люди — «я Вам принципиально руки не подам», «я с Вами принципиально не разговариваю», в общем — «я Вас принципиально ненавижу». И они оба высоких взглядов люди, и все у них принципиально. И все это упирается в то ужасное утро на Кавказе под горой, когда вот сейчас один принципиальный человек всадит пулю в лоб другого принципиального человека. И только дьякон, который просто от любопытства пошел, посмотреть, в последнюю секунду кричит: «Он его убьет!», и останавливает убийство, и потом фон Корену говорит: «Мне показалось, что Вы хотели его убить...»

Ему даже в голову не приходит, что можно хотеть вообще убить! И с этого крика, с этой остановки дуэли начинается преобразование взаимоотношений этих двух людей [Лаевского и фон Корена]. Фон Корен — гуманист, тоже несет всякую ахинею и даже Христа включает в синтез человеческих ценностей. И вот разговор между фон Кореном и дьяконом. Он его поучает, как будет светло и разумно, что будет настоящая вера — вера разумных, гуманных людей. Дьякон все слушает, слушает, он даже особенно и не спорит, ему даже нравятся такие умные люди. Но в одном месте он отвечает как ему Бог на душу положил.

«Вы говорите — у вас вера, — сказал дьякон. — Какая это вера? А вот у меня есть дядька-поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет и все бабы и мужики навзрыд плачут, он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да... Вера горами двигает. Так-то... — продолжал он. — Вот вы все учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых да сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете — и все остается на своем месте; а глядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечет одно только слово, или из Аравии прискачет на коне новый Магомет с шашкой, и полетит у вас все вверх тормашкой, и в Европе камня на камне не останется».

Все в мире меняется от подлинной веры. И на этом рассказ почти кончается. И такое чувство несоизмеримости! Сам Чехов как будто знает и этот подлинный мир веры и знает все эти хладнокровные рассуждения фон Корена, как все это будет хорошо. Вот сколько я уже прочитал рецептов спасения России, а все читаешь, читаешь и думаешь: все фон Корена вижу, все это очень гладко выходит, и хочется ему сказать, как ему говорит доктор Самойленко: это все немцы! А вот дьякона немцы не выдумали. Дьякон и

легкомысленный, червячков удит по утрам, и делать ему там решительно нечего; так устроено наше общество, что дьякону в нем делать решительно нечего; но вот эти два момента — его ответ о вере и то, что он просто спасает Лаевского, и спасает не потому, что хочет какое-то благо сделать, а ему просто не приходит в голову, он не может поверить, [что можно хотеть кого-то убить,] ему кажется трагической ошибкой то, что происходит. И все освещение этого рассказа и того, что стоит за ним, абсолютно меняется.

И последний рассказ — это «Архиерей». Об «Архиерее» нужно было бы, конечно, отдельную лекцию, даже курс лекций прочитать. Напомню вам, о чем речь идет в этом рассказе. Постепенное заболевание, умирание молодого викарного архиерея в провинциальном городе происходит на Страстной седмице. Они как будто параллельно идут — отдельно идет Страстная седмица, от Вербного воскресенья до Великой субботы, отдельно — первые признаки болезни, тифа, преосвященного Петра, они появляются на всенощной под Вход Господень в Иерусалим, и умирает он под Великую субботу. Чехов этот рассказ пятнадцать лет писал. Я думаю, что он хотел в этом рассказе эти два момента соединить, он чувствовал, что самое последнее, самое свое задушевное он только может высказать, написав рассказ о том, как в те дни, когда вспоминается последнее истощание Христа, происходит истощание владыки Петра, подчеркиваемое присутствием его матери, отмечаемое все время — всенощная под Вербное, первые эти три дня — Великий понедельник, пение «Чертог Твой вижду...» (монахи поют, он слушает), Двенадцать евангелий и наконец его спуск в темноту и в свет Великой пятницы и в смерть.

Этот рассказ, я думаю, [прочитав один даже раз,] никогда в жизни не забудешь. В нем — и это не поддается рациональному анализу или нужно книгу об этом писать — есть несколько моментов, когда Чехов показывает что-то, являет в нем что-то, может быть, самое главное в Православии, что несводимо ни к чему в нем, не может быть сводимо только к догматике или канонам, то, в чем сущность христианства, ибо христианство заключается в том, чтобы дать нам почувствовать, дать нам вкус на язык того, что ухо не слышало, глаз не видел, что не приходило на сердце человеку и что угодовал Бог любящим Его, а именно Царство Божие. Только о Царстве Божиим христианство. Из него можно что угодно сделать другое, но спас нас Бог тем, что дал нам почувствовать вот эту абсолютную реальность.

И в этом рассказе Чехов чувствует, что Церковь — об этом. Конечно, весь символизм детства и прочее... «Преосвященный засмеялся» — в кровати лежит и вспоминает детство: «В восьми верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой.

Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно».

Вы знаете, что положительную реальность, положительного героя в литературе описывать невозможно. Слава Богу, кроме Эрнеста Ренана никто еще не дерзнул Христа в литературе выводить. Но ведь есть приближения — в выборе слов, в выборе ритма, в том, чтобы показать, в чем то самое сокровище, о котором сказано в Евангелии: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», вот в этом «счастливый бесконечно», и в воздухе, который дрожит какой-то радостью...

И через несколько страниц: «Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полночи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину... (Я пропускаю несколько строчек.) И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но всё же не всё было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и всё еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует всё та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей. “Как они сегодня хорошо поют!— думал он, прислушиваясь к пению.— Как хорошо!”» И вот еще: «Отец его был дьякон, дед— священник, прадед— дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым».

А он уже умирает от тифа, осталось несколько часов жить. «Это первое евангелие “Ныне прославился Сын человеческий” он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это всё те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они всё те же будут каждый год, а до каких пор — одному Богу известно».

И вот последнее: «Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к

архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и всё покачивал головой и хмурился, потом сказал: “Знаете, ваше преосвященство? Ведь у вас брюшной тиф!” От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что всё то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

“Как хорошо!— думал он.— Как хорошо!” Пришла старуха мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного. “Павлуша, голубчик,— заговорила она,— родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!” <...> А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно! <...> А на другой день была Пасха».

Весь контрапункт, которым этот рассказ отмечен, это... я не могу здесь объяснить, может быть, Бог милостив, удастся изложить все это более научным способом. Но если взять этот взлет чеховский, [то можно] почувствовать, что он перед смертью (ему самому-то оставалось полтора года жить, когда этот рассказ был написан) как художник, до конца преодолел все то, что как интеллигент он так никогда понять и не смог, во всяком случае в плане умственном, в плане разумном до конца это у него не улеглось, кроме разве что в его характере, который становился все проще, все тише, все скромнее. Но этим рассказом он как бы всю русскую литературу поднял — не в мир апокалипсического пророчества, как Достоевский, не в мир морального пафоса, как Толстой, и не во все искания и возвраты, которыми отмечен весь Серебряный век, но сразу к самому главному.

Все в христианстве, все в Православии и все в Церкви меряется и измеряется только принятием или неприятием вот этого видения, вот этого духовного сокровища, этого Царства Божия. Если этого нету — остается болтовня. Если этого нету — остается страстное желание как-то себя через религию выявить. Может быть много духовностей, и «многие придут под именем Моим...и многих прельстят». И критерий только один. Критерий даже не в чудесах и, уж конечно, не в длине и не в качестве поста — во всем этом мы сами от лукавого ищем самим себе какую-то точку опоры.

Но вот читаешь рассказ Чехова «Архиерей» и вспоминаешь в минуты сомнений или усталости от всего этого словесного христианства, в котором приходится жить и самому, и другим, и всем нам вместе, от всего этого заливающего нас словесного выражения нашей идеологии, вспоминаешь этих почти ничего не говорящих отца Якова Смирнова, смешливого дьякона Победова, отца Христофора Сирийского, который едет продавать чужую шерсть и в конце концов выражает философию христианской культуры, и наконец этого архиерея, у которого вся жизнь прошла и ничего не удалось, ибо он умер молодым (там, между прочим, много сказано, как он сердился на непонимающих глупцов, топал ногами на батюшек, которые молчали в его присутствии, как раздражался... Совсем он не святой и не идеальный человек)... Что у них у всех общего? У них у всех общее — это отнесенность к тому самому главному, из чего все остальное освящается и оправдывается.

И вот вернемся сейчас к нашей русской судьбе. Все мы много читаем, участвуем в этих спорах, в этих разделениях, и каждый искренен, несомненно, и все имеют свою формулу спасения, и все имеют свою формулу будущего русского устройства, и даже каждый имеет свою формулу русского прошлого. Кто выбирает одно, кто — другое (я уж не буду называть, кто кого и что выбирает)... И во имя этого своего прошлого он будет отрицать другое прошлое. Есть такие, которые готовы все совместить, в таком некотором либеральном похлопывании друг друга по демократическому животу. И это есть. Все есть. Но я убежден совершенно и только потому дерзнул перед вами пролепетать нечто о Чехове, что вот в поисках того, что действительно нам всем нужно, без чего никакого исцеления, соединения, взаимного понимания не произойдет, [хорошо бы почувствовать] и то, что было отражено не в рассуждениях отдельных русских мыслителей, даже не в рассуждениях отдельных русских писателей (я, как и вы, помню: «от Востока звезда сия воссияет»⁷; все это я помню и знаю, и Достоевского помню и преклоняюсь перед его метафизической глубиной и величием), а духовную красоту, правду и трансцендентность вот этих в замыганных, старых рясах попиков и дьяконов, которые [тихо, почти незаметно существовали], когда Россия блуждала, когда она шла к какому-то уже обрыву, когда кто-то видел Софию, а кто-то — бесов, кто-то мечтал о третьем завете, и, главное, все грешили невероятной гордыней (сколько бы нас Бог ни смирял, мы все остаемся спасителями человечества, возвещающими последнюю правду)...

Так, может, [нужны нам] смирение, простота, глубина и духовная правда этих отцов Яковов, отцов Победовых и наконец этого удивительного истекающего кровью архиерея, который в конце концов оказывается простым человеком, идущим по полю, и то, чем весь этот рассказ отмечен на каждой ступени его снисхождения со Христом в

темноту, отмечен теми словами, с которых начинается творение Божие: «Как хорошо! — повторял он. — Как хорошо!» И когда мы это почувствуем, то и, может, вернемся к этому, и почувствуем, что Церковь — об этом и в этом ее вечный дар, что она рождала этих людей, которые в нашей культуре, в наших системах, в нашей земной мудрости почти были бессильны не только просто пробиться, а и никакого следа не оставили, а вот Чехов их заметил, для нас сохранил, и это уже одно делает наш долг ему неоплатным. Вот об этом, повторяю, только очень быстрым намеком я и хотел с вами сегодня поделиться. Спасибо.

¹ Впервые: Прочитана в 1970-х гг. в Сан-Франциско. Расшифровка аудиокассеты Е.Ю. Дорман. Печ. По: <http://www.pravmir.ru/protopresviter-aleksandr-shmeman-tolko-chehov-ne-proglyadel-russkogo-svyashhennika/>

² «Он пугает, а мне не страшно» - В этом виде фраза приводится в «Записках писателя» Николая Телешова (М., 1953). Однако ближе к первоисточнику запись в «Дневнике» А. С. Суворина от 5 июля 1907 года (М., 1923). Отзыв Толстого об Андрееве передал Суворину П.А. Сергеенко, секретаря Толстого: «Андреев все меня пугает, а мне не страшно».

³ В статье о Чехове «Творчество из ничего» (1908) Шестов называет Чехова «певцом безнадежности», «жестоким талантом» называет Н. Михайловский Достоевского. Вероятно, Шмеман путает, но для этого есть основания: Шестов не раз ссылается на Михайловского, не раз сближает Чехова с Достоевским, говорит о жестокости, с которой Чехов выбирает в «Скучной истории» тему для своего повествования, ссылается на «его исключительное пристрастие к смерти, разложению, гниению, к безнадежности».

⁴ Русский критик К. Леонтьев в знаменитой статье «Наши новые христиане» называет Л. Толстого и Ф.М. Достоевского «розовыми христианами», ссылаясь на то, что живой опыт христианства ими искажен, подменен сентиментальностью и сладостью

⁵ «Помнишь, как, бывало, // Брюхом шел вперед, // И крестом сияло // Брюхо на народ?..» - строки из поэмы А. Блока «Двенадцать».

⁶ Эти слова принадлежат архим. Киприана (Керна). См. его статье «Левитство и пророчество как типы пастырствования» (Сб. «Живое предание. Православие в современности». М., 1997).

⁷ Цитата из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», слова иеромонаха Паисия (ч. 1, кн. 2, гл. 5).